

Евгений Войскунский

Мир тесен

Серия «Самое время!»

Далеко не каждый из многочисленных поклонников писателя-фантаста Евгения Войскунского знаком с другой стороной его творчества, основанной на жизненных впечатлениях капитана III ранга, кавалера двух орденов Красного Знамени, участника героической обороны Ханко. «Мир тесен» — это роман-воспоминание, своего рода групповой портрет поколения, подросшего как раз к самой войне и принявшего на себя страшную тяжесть ленинградской блокады и сражений на Балтике. Действие заканчивается в победном мае 1945 года, но судьбы героев в эпилоге протянуты до 80-х годов. Через всю книгу проходит история борьбы за восстановление доброго имени одного из храбрейших бойцов-балтийцев, попавшего в беду.

*Светлой памяти жены и друга
Лидии Владимировны Войскунской*

Предисловие

Старшего брата у меня не было. Но были товарищи постарше.

В то время как моим одногодкам предстояло еще несколько лет учиться, те были уже на взлете, примеривались к будущим профессиям (нам на зависть!). Помню красивый голос Коли Мерперта, читающего монолог Отелло и явно мечтающего стать вторым Остужевым.

Вот и бакинский юноша Женя Войскунский поступил в ленинградскую Академию Художеств. «Прекрасным летним утром я шел по Невскому проспекту, — вспоминал он десятилетия спустя, — и у меня дух захватывало от его красоты... лучший в мире город приветствовал меня блеском витрин, звоном трамваев...»

Но по недавнему воинскому закону вскорости предстояло идти в армию. В октябре 1940 года новобранец оказался в гарнизоне той самой военно-морской базы на Ханко, ставшей несколько месяцев спустя местом жестоких боев. «Пять месяцев мы держали этот полуостров, обсыпанный, будто крупой, мелкими островками», — говорится в романе Е. Войскунского «Мир тесен».

После же этой тяжелейшей обороны предстояло испытать драматический переход в Кронштадт по заливу, буквально напигованному минами, когда подорвался огромный теплоход «Иосиф Сталин».

В свое время, еще на Ханко, недавнему студенту Борису Земскову (от чьего лица ведется повествование) была невыносима мысль о погибшем и не похороненном друге. Память же об оставшихся на «Сталине» живых людях, желание узнать их дальнейшие судьбы и причины, почему им не пришли на выручку («Ушли, значит, корабли, а они остались на минном поле. И все ждали, что придут их сымать. А море пустое»), — все это не может уняться за всю жизнь Земскова, побуждая к «бестактным» обращениям к «высокому» начальству, «излишним» расспросам, что иной раз не лучшим образом сказывается на его собственной флотской службе.

Есть среди других эпизодов войны на Балтике, в изобилии существующих в романе, краткое упоминание о неудачном, несмотря на весь проявленный тогда героизм, десанте на эстонское побережье. И вот уже в совсем недавнем новом романе Войскунского «Румянцевский сквер» с той же неслабеющей «земсковской» страстностью воскрешена,

воспета и оплакана история этого батальона морской пехоты, высаженного «ночью, продутой ветром, чреватой бедой» в ледяном феврале сорок четвертого возле деревни Мерекюля.

История, не дающая покоя немногим уцелевшим ее участникам и свидетелям и прочно связывающаяся в их мыслях и чувствах со всем драматизмом прошлого и настоящего. Горечь за искалеченные судьбы (будь то мытарства попавшего в плен десантника Цыпина или «Житие Акулиничча», как названа глава о сыне «врага народа», который уже совсем в позднюю советскую пору в свою очередь сгинет в «родимом» концлагере) соседствует в книге с гневным презрением к казенному равнодушию и в особенности — к разжиганию межнациональной розни.

Политиканы вроде Самохвалова пользуются нынешней растерянностью и угнетенностью многих людей из поколения, вынесшего все тяготы войны. Больно читать в последнем сборнике стихов жизнерадостного в прошлом Михаила Дудина (послужившего в значительной мере прототипом Сашки Игнатъева в романе «Мир тесен»):

И ворон простер над пространством крыла.
И — ни огонька в утешенье.
Была ли победа? Была да сплыла!
Осталось одно поражение.
И нет половины России. И нет
Великой и дерзкой отваги.
И мрачен холодный и мутный рассвет.
И выцвели гордые флаги.

«Вам чего дали за вашу победу? Дырку от бублика?» — слышит Цыпин от сына, верящего, будто Самохвалов «болеет за русский народ», да он и сам, увы, прислушивается к надрывным речам этого оратора, натравливающего на «инородцев», якобы повинных во всех несправедливостях и бедах.

О страшных последствиях подобных «теорий» рассказано в романе «Девичьи сны». Еще недавно бакинцы гордились своим городом как «самым интернациональным в мире». «На национальность разве смотрели?» — говорит старожил, заслуженный бурильщик-нефтяник, армянин Галустян, чью дверь теперь зловеще метят крестом — прямо как в средневековье.

«Сегодня из Баку выгоняют армян, завтра возьмутся за евреев, за русских», — причитают в другой семье.

С явственной личной болью передает писатель, в юные годы которого «вокруг шумел, гомонил пестрый многоязычный город, прильнувший к теплому морю», драматические переживания тех, для кого теперь «родной город словно стал чужим», неузнаваемым. В нем бесчинствуют толпы, в которых, по горестным словам одного из персонажей, «легко раствориться всему человеческому, что есть в человеке». «Город будто захватили дикие кочевники», — ужасается другой, чьих близких, как и его самого, вскоре накроет кровавая волна погромов. И вот уже течет, течет «понурая река» вынужденных беженцев «нежелательных», «нетитульных» национальностей.

Чтобы описать такое, равно как и митинги-шабаши аж на прославленном Румянцевском сквере, нужно было немалое мужество!

Евгений Войскунский хорошо известен многим читателям и как научный фантаст. Написанный им в соавторстве с И. Лукодяновым «Экипаж “Меконга”», по мнению критики, был «одной из тех книг, которые... создавали знаменитую фантастику 60-х».

Однако, чуть не полвека поработав в этом литературном жанре, Евгений Львович в мемуарах признавался: «В общем-то, при всей своей давней любви к фантастике, я вступил под ее зеленые кущи довольно случайно. Человеческие истории, судьбы людей моего поколения привлекали меня куда больше...»

Для определения же главного, не остывающего с годами писательского пафоса кажутся чрезвычайно уместными слова, сказанные в романе Е. Войскунского «Кронштадт», отмеченном премией имени Константина Симонова: «Воспоминания обрушиваются, как волны на берег... откатываются... набегают вновь».

Сдается мне, что всплеск той же волны ожидает нас и в новой книге, которая сейчас в работе у стойкого девяностолетнего «ханковца»!

Андрей Турков

МИР ТЕСЕН

роман

Часть первая
НА СКАЛАХ ГАНГУТА

*Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе*

*—
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...*

А. Твардовский

Финское название этого островка, затерянного в ханковских шхерах, было трудное. Мы называли его «Молнией»: на карте он выглядел как зигзаг, которым обычно изображают молнию. Он был маленький, за десять минут обойдешь, но, думаю, если б разглядить нагромождения скал, то его площадь увеличилась бы намного.

Четвертого августа на Молнию высадился наш десант. Я в том бою не участвовал. Мы с Толей Темляковым и Сашкой Игнатьевым попали на Молнию две недели спустя.

Финны сделали попытку отобрать остров, они оттеснили десантников, оставшихся в живых, на его южную оконечность. Телефонная связь прервалась, и в штабе десантного отряда на острове Хорсен не знали точной обстановки на Молнии. С ночи там гремел, то затухая, то снова разгораясь, бой. Под вечер приплыл с Молнии старшина второй статьи Андрей Безверхов. Финны стреляли по нему, он плыл под водой, меняя направление и выныривая, чтоб глотнуть воздуха. Проплыв метров семьсот, Безверхов вскарабкался на крутой гранит Хорсена и повалился плашмя. К нему бросились бойцы с ближайшего наблюдательного поста, стали поднимать, но Безверхов вдруг сам вскочил и побежал в глубь острова, к штабной землянке. Я как раз дежурил на КП у телефона и видел, как он вбежал — в одних трусах, худой и белокожий. Мокрые черные волосы лезли ему в глаза. Задыхаясь, бурно дыша, Безверхов шагнул к командиру отряда, вставшему навстречу. Вытолкнул из горла несколько судорожных фраз. Капитан велел ему выпить спирту и лечь отдыхать.

Резервный взвод мичмана Щербинина был поднят по тревоге, и уже минут через пятнадцать два мотобота из хорсенской флотилии, стуча дряхлыми керосиновыми движками, почапали к Молнии. Обогнув Старкерн, мы увидели в синей вечерней мгле черный силуэт Молнии. Там было тихо. Отвратительно громко стучали движки мотоботов.

Я сидел в корме, у борта, и следил, как разматывается катушки телефонный провод, уходя в темную воду. Надо было восстановить связь, для того меня и послали с десантом. Подражая более опытным бойцам, я завязал ленточки бескозырки под подбородком — чтоб ветром не сдуло. Но вечер был тихий, ветра хватало только, чтобы слабо колыхать кроны сосен.

Ребята сидели молча, кто-то курил в кулак, вился махорочный дымок. Щербинин стоял рядом со мной, в заломленной мичманке, с трофейным автоматом «Суоми» на груди. Черную бороденку задрал — всматривался в молчащую Молнию. За нашим головным мотоботом шел второй, тоже набитый десанниками. Там, я знал, командиром отделения шел Шамрай. Мой друг детства Колька Шамрай — надо же, чтобы мы встретились на Ханко, черт-те что, жили в Питере по соседству, и теперь вот...

Я увидел: с Молнии в нашу сторону потянулась светящаяся трасса, тяжело застучал пулемет, свистнули пули. Я пригнул голову. Лечь бы ничком, вжаться в деревянное днище мотобота. Но мне нужно было следить за проводом. Мотобот маневрировал под огнем, прибавлял ход, внезапно убавлял, и мне приходилось здорово присматривать, чтобы в этой кутерьме провод не намотало на винт. Огонь вдруг разом прекратился. Несколько минут мы шли в полной тишине, только движки тарахтели на всю Финляндию. Кто-то с Молнии замигал нам фонариком. Это наши показывали, куда надо приставать, и комвзвода Щербинин велел рулевому держать на вспышки.

Андрей Безверхов (он отказался отдыхать и, раздобыв бушлат и брюки, пошел с нами) привстал в носу мотобота, взгляделся и крикнул, глотая окончания слов:

— Щерби-и! Это финики сигналият! Давай впра-а! Пра-а руля, говорю!

На Молнии поднялась стрельба. Там возобновился бой. Безверхов всматривался в перебегающие вспышки, пытался по ним уточнить место наших, — ведь за то время, что он отсутствовал, на Молнии многое могло перемениться.

— Правее, правее! — командовал он.

Мотобот шел вдоль камней, торчащих из воды — шхеры утыканы камнями-зубами, — и с каждым тактом движка остров наплывал, наплывал, и Щербинин скреб бороду и материл «фиников», которые чуть было не поймали нас по дешевке.

Полоснуло пулеметным огнем. Кто-то вскрикнул, кто-то захрипел. Мотобот накренился в резком повороте. Я не видел, как на острове, на скале, вдруг поднялась во весь рост человеческая фигура, дала короткую автоматную очередь вверх — и упала. Я не видел это, потому что следил за чертовым проводом, но ребята увидели, и мотобот пошел прямо к тому месту, где поднялся человек. Финский

пулеметчик работал близко, он наверняка перебил бы всех нас, если б Щербинин не заорал:

— Прыгай за борт!

Он первым кинулся в воду, за ним посыпались ребята, я тоже прыгнул. Ух-х! Холод продрал ожогом снизу доверху. Я пошел ко дну, но ударился ногой о твердый грунт, тут же всюду гранит, — ударился ногой, оттолкнулся и вынырнул, отплеываясь. Тяжелое снаряжение — винтовка за плечами, коробка с полевым телефоном на ремне, катушка с проводом — снова потянуло на дно, но я уже знал, что тут не глубоко. До берега было метров двадцать, и я поплыл, отчаянно загребая одной рукой и работая ногами. Справа и слева, обгоняя, плыли ребята, задрав винтовки и автоматы. Пулемет громыхал над ухом как кузница. Позади рвануло так, что меня подбросило волной. Заложило уши. Я судорожно глотнул, услышал чей-то оборвавшийся крик, мельком увидел, что второй мотобот будто крутится на месте. Я здорово наглотался воды и выбился из сил.

Но тут уже можно было встать на ноги. Я побрел к берегу, по горло в воде, оскользаясь на неровном грунте. Косо взлетела ракета, в ее зеленоватом свете я увидел, как ребята карабкались на прибрежные скалы и, пригнувшись, перебежали от сосны к сосне. Пока я выбирался на берег и воевал с проводом, запутавшимся в камнях, десант с ходу рванулся вперед. Сквозь лай автоматов и хлопки винтовочных выстрелов я слышал громовой голос Щербинина. Он всегда страшно матерился в атаках, это всем было известно. Финнам — тоже.

Присев под первой сосной, я откинул крышку с телефонной коробки. Аппарат, конечно, был мокрый. Черт, что же делать? Связь с Хорсеном нужно восстановить немедленно, для этого меня и послали. И вот — провод есть, а в аппарате что-то неладно, изоляция, что ли, пробита. Меня трясло от холода, а может, от запоздалого страха. Все-таки это был мой первый десант.

Неподалеку, под соснами, шевельнулась тень. Я упал грудью на катушку, чтоб не скатилась в воду, и сорвал с плеча винтовку. Бой ушел вперед, но черт его знает, может, это заблудившийся «финник».

— Эй, кто там? — услышал я хриплый оклик.

— Свои! — У меня отлегло. Разматывая провод с катушки, я пошел к человеку.

Он сидел, прислонясь к валуну, и беспрерывно сплевывал. В синей темноте белело его длинное лицо. Одна нога была

вытянута. Рядом — я чуть не задел одного ботинком — лежали, не шевелясь, еще двое.

— Иванова убило, — сказал человек.

— Какого Иванова? — не понял я.

— Ты телефонист, что ли? Алексея Иванова, командира нашего. Он вам сигнализировал, срезали его. Ну-ка, стяни сапог.

Иванова убили! Я не видел его ни разу, но знал об его храбрости и слышал голос, когда он звонил с Молнии на Хорсен.

Принялся стягивать сапог с вытянутой ноги человека. Вдруг человек заорал дурным голосом — я так и замер.

— Не трожь, — прохрипел он, сплевывая. — Шунтиков придет, сам сделает. У нас Стрижа убило. Телефониста. Аппарат вон там, под скалой, — указал он. — Посмотри.

Бой утихал. Еще рвались гранаты и хлопали выстрелы, но явно стихало. Я пошел к скале. Она высилась черной, неровной поверху стеной. Под ногами звенели стреляные гильзы, в ботинках хлюпала вода.

Аппарат стоял под скалой на плоском, как стол, камне, провод от него тянулся в ту сторону, куда ушел бой. Видно, коробку не раз перетаскивали с места на место, когда финны теснили наших, и провод где-то оборвался. Разрывом гранаты, может, перебило. Сам аппарат был цел, питание вроде в порядке. Я быстренько подключил к нему новый провод и закрутил ручку.

— Гром! — закричал в трубку. — Гром, я Молния! Гром, слышите меня?

Телефонист на Хорсене ответил, и сразу я услышал голос командира отряда:

— Ну, что там у вас?

— Товарищ капитан, докладывает Земсков! Связь восстано...

— Об этом я уже догадался, — сердито прервал капитан и потребовал к телефону Иванова.

— Иванов убит, — сказал я.

На том конце провода раздался не то вздох, не то хриплый стон.

— Я тут один, товарищ капитан. Разрешите, я узнаю...

— Щербинина давай, — сказал капитан. — Поживее!

Я положил трубку на аппарат и побежал в глубь острова, и опять под ногами зазвенели стреляные гильзы. Я слышал неясные крики. Длинно-длинно высказался пулемет. Когда он умолк, я услышал зычный голос Щербинина. Он распоряжался, выставляя посты.

— Твои люди, Ушкало, пусть отдыхают, — говорил он; голоса и шаги приближались. — После драки покурить — первое дело.

Группа бойцов шла мне навстречу. В бледном свете лунного серпа, пробившегося сквозь кроны сосен, я увидел пиратскую бороду Щербинина. Двое несли кого-то на трофейной финской шинели.

— Мичман, — сказал я, — быстро на связь. Капитан зовет.

— А! — закричал Щербинин. — Живой? Я уж думал, ты у морского шкипера катушку раскручиваешь.

Он ударил меня по плечу и поспешил к телефону. Заломив мичманку и поставив одну ногу на камень, доложил капитану, что финны выбиты с острова. Один мотобот разбит при высадке. Потери еще не подсчитаны, но убито не меньше пяти человек, а раненых больше, сейчас будем уточнять. Взятые трофеи — ротный миномет и несколько штук автоматов «Суоми», точно пока неизвестно. Потом взял трубку главный старшина Ушкало, помкомвзвода гарнизона Молнии. Из его немногословного доклада я узнал, что в гарнизоне Молнии осталось в живых всего семь бойцов, боезапас кончился, только гранаты еще оставались, а последние патроны они, семерка, решили оставить для себя. Опоздай резервный взвод на час — остров был бы потерян. Лейтенант Иванов, командир острова, первым увидел наши мотоботы и поднялся из-за укрытия, чтобы просигналить, — и был срезан пулеметом противника.

Потом Ушкало некоторое время слушал, повторяя «есть... есть...», и в заключение сказал в трубку:

— Есть принять командование.

Над притихшими шхерами высоко в небе плыл кораблик новорожденного месяца. Его слабый свет еле процеживался сквозь кроны сосен. Мы курили, пряча в кулаках огоньки самокруток.

— Ты Кольку не видел? — спросил я Темлякова.

— Нет. — Он сидел рядом и возбужденно говорил: — ...чуть на голову не свалился с сосны. «Кукушка»! Я — раз! — за камень. Он как даст по мне очередь. Мимо! Только он побегал к берегу, я — раз! раз! Со второго выстрела снял. А другой финик...

— Где Колька? — спросил я. И выкрикнул: — Коля! Шамрай!

Чей-то голос буркнул:

— Нет Шамрая. В мотоботе остался.

— Как это — в мотоботе? — спросил я, неприятно пораженный.

Но голос умолк. Я слышал, как стонал и сплевывал тот, длиннолицый, — кто-то стягивал сапог с его ноги. Смутно забелела накладываемая повязка. Толя Темляков что-то еще говорил — про второго «своего финика», — но я плохо слышал. Где же Колька Шамрай? Я встал и подошел к урезу воды, всмотрелся в тусклую поверхность плеса, в смутный силуэт соседнего острова Эльмхольма. Один мотобот покачивался на воде, длинный фалинь тянулся от его носа к выступу скалы. А второго не видно. Затонул, что ли?

— Земсков! — услышал я высокий голос Игнатьева. — Борька, ты где?

Я откликнулся и пошел к камню, где стоял телефонный аппарат. Тут крикнуло, ухнуло — прямо к нам понесся неровный нарастающий вой. Неподалеку полыхнуло красным, взметнулся взрыв. Туго ударило в уши, толкнуло в грудь, обдало теплой волной. Тук-тук-тук-тук — застучали осколки о камень, о наш гранитный остров. Снова вой. Снова взрыв. Я лежал ничком, прижавшись боком к камню и прикрыв руками голову. Мне было жалко только голову.

Грохнуло, ослепило, ударило за ухом, я почувствовал острую боль. Ну вот... кажется, все... Но звуки разрывов продолжали доходить до меня, горький запах тротила бил в ноздри, и я понял, что пока живой. Я услышал дребезжание зуммера и схватил трубку. Далекий, очень тихий голос капитана спросил:

— Что там у вас?

— Обстрел! — крикнул я, прижимая трубку к уху и не слыша своего голоса, заглушенного новым разрывом. Того, что говорил капитан, я тоже не слышал.

Я оглох. Сколько часов уже... сколько часов лежим под огнем?..

Кто-то потряс меня за плечо:

— Ты живой?

Я приподнял голову и уставился на Игнатьева.

Я был живой, только за ухом болело, только в животе что-то мелко и противно тряслось — наверное, поджилки. А между тем над соснами нарастал, приближаясь, неровный свист. Он ввинчивался в воздух. Сейчас ка-ак шархнет... Я невольно обхватил голову руками. Бу-бух! Рвануло поблизости. Поблизости, но уже далеко. И снова тяжелое шуршанье летящего снаряда...

Наконец до меня дошло, что обстрел кончился. Теперь ханковская артиллерия была по Стурхольму — большому финскому острову по соседству с нашей Молнией. Ну да, со Стурхольма обстреляли нас — в отместку за то, что мы выбили их десант, — а капитан попросил у ханковской батареи огонька, и та ударила по Стурхольму. Заткнула им глотку.

Я уже не раз бывал под огнем и пытался заставить себя не бояться. Как это в книжках о прежних войнах писали: «С презрительной усмешкой он стоял под ядрами». Что-то в этом роде. Но мне пока что не давалась презрительная усмешка.

Я сел, упершись ладонями в землю. Левая наткнулась на острое, теплое — это был осколок снаряда. Тяжелый, зазубренный, не успевший остыть. Он не дотянул до меня нескольких сантиметров. Я размахнулся было, чтобы швырнуть осколок в воду, но передумал, сунул в карман бушлата.

— Десять минут, — сказал кто-то. — Десять минут садили в нас.

— Вот это был огневой налет! — сказал Сашка. — Вот это налетик. Сатана перкала!

— Чего? — не понял я.

— Сатана перкала. Это финики кричали. Ихнее ругательство. У нас сатана, у них — сатана.

За ухом у меня здорово болело. Провел пальцем по шее — палец стал черным от крови.

— Меня ранило, — сказал я, растерянно глядя на палец.

Сашка и Толик стали звать санинструктора, тот подошел, посветил фонариком на мою шею. Потом промыл рану чем-то едким и сказал:

— Сосновой щепкой царапнуло.

Я пошел искать Кольку Шамрая, но не нашел. Потом меня поставили на пост. Так и не спал почти до рассвета. И почти до рассвета работала артиллерия. На Вестервике заговорила тяжелая финская батарея, ей ответил ханковский главный калибр. Снаряды с обеих сторон выли и буравили воздух над нашими головами.

Под утро уцелевший мотобот ушел на Хорсен, увозя убитых и раненых. Вторым рейсом он увез Щербинина с частью взвода. Другая часть резервного взвода осталась на Молнии, в том числе Сашка Игнатьев, Темляков и я. А Кольки Шамрая не было ни среди убитых и раненых, увезенных на Хорсен, ни тут, на Молнии. Нигде его не было...

Надо, наверное, рассказать вам, как я попал на полуостров Ханко, в эти окайненные шхеры. Дело нехитрое: если есть на Балтике гиблая военно-морская база, то уж я на нее попаду.

Шучу, конечно. А вот всерьез.

С вашего позволения, я родился в Ленинграде, вырос тут, паспорт получил. Жили мы на канале Грибоедова в огромной густонаселенной квартире. В двух комнатах жило семейство Шамраев — папа с мамой, Колька и две его сестры, шумный народ. Дальше, возле кухни, занимал комнату критик Анатолий Либердорф, пожилой дядька лет под сорок, с брезгливым тонкогубым ртом. Мы его называли «Лабрадорыч». Еще в двух комнатах жили мы, Земсковы. Отец, Павел Сергеевич, строитель в крупных чинах, больше жил на Кольском полуострове, чем дома. Он строил в Хибиногорске апатитовый комбинат — ну, вы знаете, какая это была большая стройка. Помню, однажды вечером — мне тогда было лет десять-одиннадцать — зазвонил у нас телефон. Я снял трубку: «Алло». Слышу незнакомый голос: «Кто говорит?» — «Я, Боря». — «А, привет, Борис». — «Привет», — говорю. Голос засмеялся и велел позвать отца. А отец только утром приехал с Севера, весь день проторчал на каком-то совещании и теперь спал в маленькой комнате на диване, закрыв лицо газетой. «Папа спит, — сказал я в трубку, — он устал». — «Устал, говоришь? — переспросил голос. — Ну ладно, я через час позвоню». И верно, позвонил. Отец подошел к телефону, я слышал, как он сказал: «Здравствуйте, Сергей Миронович... Да нет, что вы...» Так вот получилось, что я обменялся приветом с Кировым.

Мы должны были всей семьей переезжать в Хибиногорск. Я радовался переезду: в Ленинграде все привычно, а там город в тундре! Ужасно хотелось прокатиться по тундре на оленях. Я выучился без запинки произносить название горы, у которой раскинулся новый город, — Кукисвумчорр. Ребята в моем классе завидовали, что я буду жить возле такой знаменитой горы, а Колька Шамрай подносил мне к носу длинный кукиш и спрашивал: «Ну, скоро сюда заберешься?» Колька был непутевый. Он однажды сбежал из дому, месяца два где-то носило, потом привела его, отощавшего и оборванного, милиция, и папа Шамрай, типографский рабочий, как следует отодрал блудного сыночка. Моя мама пошла на Колькины крики увещевать папу Шамрая, но тот гаркнул, чтоб не лезла не в свое дело.

Мы собирались переезжать, но отец вдруг заболел и слег надолго. Что-то у него было с сердцем. Потом Хибиногорск

— его в то время уже переименовали в Кировск — отпал. Отец остался в Питере. В мае 1938-го поздно ночью его поднял с постели телефонный звонок. Не знаю, кто звонил и о чем говорил. Но отцу после этого звонка стало плохо. Мать вызвала «неотложку», послала меня в дежурную аптеку за кислородной подушкой. Отец задыхался. Он судорожно глотал воздух, глаза были широко раскрыты и не мигали. После укола стало легче, он смотрел на маму и на меня и пытался что-то сказать, но язык не повиновался ему. Ранним утром приехал врач, я его знал, он давно уже лечил родителей — толстенький добродушный доктор. Опять я бегал в аптеку с рецептами, на которых стояло латинское «cito». В десятом часу приступ повторился, и отца не стало.

Мама никогда не говорила мне, что это был за ночной звонок. Но я с той поры возненавидел телефон. По иронии судьбы военная служба определила меня в телефонисты...

Должен вам сказать, что я не помышлял о военной службе. Тем более — о военно-морской. А о чем я помышлял? Трудный вопрос. Я был разбросанный. То мне хотелось учиться на врача, то — на геолога. Я завидовал Кольке Шамраю, уехавшему с геологической партией куда-то на Северный Урал. Колька добился-таки своего, больше всего в жизни ему хотелось мотаться по белу свету. Только он приехал с Урала, как определился в экспедицию, выезжавшую на юг, на раскопки скифских курганов. Молодец Колька — победоносный, с шалыми глазами, с розовыми щечками, которых он стыдился.

Не податься ли мне в археологи? Или, может, в географы? Ирка посмеивалась надо мной: вечно все усложняешь, шарахаешься из стороны в сторону, а ведь ты математическая голова, вот и надо идти на мехмат ЛГУ. Сама-то Ирка давно знала, чего ей надо: на следующий день после выпускного вечера она подала документы на филфак университета.

Ох уж это лето тридцать девятого! Вы сами помните (если, конечно, уже жили в то время), какое оно было жаркое, беспокойное. В Монголии, на реке Халхин-Гол, шли бои. Еще весной Германия проглотила Чехословакию и оттяпала у Литвы Мемель (так в то время называли Клайпеду). Из газет мы знали, что накаляется обстановка вокруг Польши: немцы денонсировали польско-германский пакт о ненападении и сильно точили зубы на Данцигский коридор. От отца, наверное, передалась привычка читать газеты, и все эти словечки, которыми они пестрели — «пакт», «денонсировать», «агрессия», «невмешательство», — были

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru